



Н. Н. СТРАХОВ

Рец.: В. В. Розанов, «“Легенда о Великом Инквизиторе” Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария», СПб., 1894.

Очень интересная книга. По высоте взгляда, на которую поднимается критик, и по глубине понимания, она, можно сказать, достойна своего предмета. А предмет есть знаменитая «Легенда», произведение, в котором, как в фокусе, сосредоточены вопросы, мучительно волновавшие Достоевского в течение жизни. Критик очень хорошо сравнивает эту «Легенду» с тем портретом в повести Гоголя¹, в котором удержалась частица жизни изображаемого лица; так и в «Легенде» осталась нам навсегда индивидуальная мысль Достоевского во всей ее сложности и особенности.

Мы переносимся за много лет назад, в «нигилистический период» нашей литературы, в конце которого и как бы в заключение была написана эта «Легенда». Умственное волнение было тогда чрезвычайное; все вопросы поднимались с самого корня, решались, перевершались и опять поднимались. Знакомые, не видевшие друг друга год или два, встречались между собою с горячими и жадными вопросами: «Ну, что? К чему вы пришли? На чем теперь остановились?» Едва ли когда повторится в таких размерах эта лихорадка мысли, оторвавшейся от действительности и мечущейся в пустом пространстве. Конечно, всегда будут отдельные лица, приходящие в такое положение; но во времена нигилизма почти вся «интеллигенция» потеряла под собой всякую почву. Положение тогдашних умов и душ было до такой степени необычайное, что, мало-помалу, оно становится для нас непонятным. Даже те, кто видел его собственными глазами, начинают забывать его, как тяжелый и странный сон. А те, кто приступает к нему с обыкновенными общими мерками, едва ли в состоянии глубоко в него проникнуть.

Ни в ком это время не отразилось так, как в Достоевском. Он всею душой входил в эти болезненные настроения и, начиная с «Преступления и наказания», вывел нам целую толпу нигилистов с их волнениями, действиями и судьбами. Тогдашние либералы не раз говорили, что он клеветает на молодое поколение, приписывая своим героям мысли о самоубийствах и злодействах. Но этот упрек потерял свою силу, по мере того, как действительно происходил целый ряд этих злодейств. Может быть, справедливее упрекнуть Достоевского в том, что его нигилисты стоят несколько выше действительности: они у него сознательнее, логичнее, тверже держатся своих идей, чем это можно предполагать у действительных нигилистов. Всякие умственные и нравственные увлечения выступают у романиста в ярких и сильных формах; безобразие этих увлечений и те мучения, к которым они приводят увлекающихся, также изображены с большою глубиною. Несколько слабее, обыкновенно, является тот теоретический поворот, который следует за раскаянием, за практическим поворотом героев, отрезвленных жизнью и своими собственными поступками. Г. Розанов так определяет Достоевского:

«Как ни привлекателен мир красоты, есть нечто еще более привлекательное... Это — падения человеческой души, странная дисгармония жизни, далеко заглушающая ее немногие стройные звуки. В формах этой дисгармонии проходят тысячелетние судьбы человечества, и если мы посмотрим на всемирную литературу, мы увидим, что ничей взор в ней не был устремлен с таким проникновением на причины этой дисгармонии, как взор писателя, которого мы разбираем. Оттого среди всего хаоса его произведений, мы ни у кого не найдем такой цельности и полноты: есть что-то кощунственное в нем и вместе религиозное. Он не избирает ни одной картины в природе, чтобы любить ее и воссоздавать; его интересуют только швы, которыми стянуты эти картины; он, как холодный аналитик, всматривается в них и хочет узнать, почему весь образ Божьего мира так искажен и неправилен. И с этим анализом он непостижимым образом соединил в себе чувство самой горячей любви ко всему страдающему. Как будто то искажение, которое проходит по лицу Божьего мира, особенно глубоко прошло по нем самом, тронуло его внутренний мир... Отсюда вытекает глубокая субъективность его произведений... Его голос доходит до нас как будто издали и, когда мы приближаемся, мы видим одинокое и странное существо там, где никого другого нет, и оно говорит нам о нестерпимых мучениях человеческой природы; о совершенной невозможности выносить их и о необходимости найти какие-нибудь пути, чтобы из них выйти.

Это-то и сообщает его произведениям вековечный смысл, неумирающее значение» (с. 28–29).

Нельзя не согласиться, что это и очень верно схвачено, и очень хорошо сказано. Мы видим, притом, прием г. Розанова: он обобщает Достоевского, он смотрит на него с вековой точки зрения. Это естественно, потому что критик, на сей раз, можно сказать, сливается с разбираемым автором: что составляет интерес, вопрос для автора, то, очевидно, есть интерес, вопрос и для критика. «Падение человеческой души» для него «привлекательнее, чем мир красоты» (с. 28).

В книге г. Розанова можно различить три главных темы: 1) характеристика Гоголя, сделанная ради контраста Достоевскому; 2) истолкование «Легенды», указывающее на весь пессимизм и отчаяние, выраженное в этом центральном произведении Достоевского; 3) собственные рассуждения критика, в которых он старается оценить этот пессимизм и указать исход из него.

Резкая характеристика Гоголя, когда появилась в «Русском вестнике», вызвала большие упреки г. Розанову², и она, конечно, страдает преувеличением. Но основание ее заключается в действительной противоположности между Гоголем и Достоевским, и в том, что критик решительно стал на сторону Достоевского. Дело это поучительное, и очень стоит внимания. Словесное искусство так свободно и так далеко может отступать от нормы, что необходимо делать в нем подразделения и различать степени и направления. Гоголь есть представитель истинного комизма, бесподобный изобразитель человеческой пошлости и глупости. Иным этого мало; им нужно зубоскальство и глумление, — и появляется сатира вроде писаний Салтыкова. Другим все это противно; является то, что Ап. Григорьев называл *сентиментальным натурализмом*, изображение действительности во всей ее грязи, но без юмора и насмешки, а с сожалением и участием. Читая Диккенса, Достоевского, Виктора Гюго, мы, конечно, воспитываем в себе прекрасные чувства; но очень жаль будет, если мы при этом потеряем способность *смеха*, честного, веселого смеха над пошлостью и глупостью. Как известно, этой способности большею частью лишены женщины; для них все бывает или жалко, или противно, но смешного почти не бывает. Итак, сентиментальность может переходить в большую односторонность, хотя, с другой стороны, и способна восходить до прекрасного искания «Божьей искры» в каждом ничтожном и жалком человеке.

Комментарии на «Легенду» занимают главное и наибольшее место в книге г. Розанова. Вообще, он находит, что Достоевский постоянно имел в виду один вопрос, именно «надежду с помощью разума возвести здание человеческой жизни настолько совершенное, чтобы оно дало успокоение человеку, завершило ис-

торию и уничтожило страдание; *критика этой идеи* проходит через все его сочинения, впервые же, и притом с наибольшими подробностями, она высказана была в “Записках из подполья”» (с. 38).

Следовательно, вот с какого времени, с 1863 года и до конца жизни, этот вопрос занимал Достоевского, и, наконец, достиг полного своего выражения в «Легенде». Критик следит за всеми последовательными обнаружениями этой мысли у Достоевского. К комментариям на «Легенду», которые были уже напечатаны в «Русском вестнике», г. Розанов в книге прибавил «Приложения» (с. 203–234), в которых дает и объясняет извлечения из других сочинений Достоевского, относящиеся к теме «Легенды».

Что же это за тема? Что за вопрос? Критик, как мы уже заметили, сливается в понимании с автором и потому рассматривает все дело с общей точки зрения. Но частные, особенные черты этого дела, нам кажется, явны и ясны. Это — вопрос *социализма*, того направления умов, которое достигло своей зрелости в половине нашего столетия и имело целью изменить все формы общественной жизни, переделать весь ход истории. Теперешний социальный вопрос представляет несколько другой характер: он ищет, главным образом, выхода из бедственного положения рабочих классов; но прежде, во времена Достоевского, социализм имел более светлую окраску, был смешан с золотыми мечтаниями о счастье и прогрессе. Мысль о такого рода перевороте лежала в основании всяких отрицаний и покушений, среди которых жил Достоевский, когда-то и сам бывший приверженцем фурьеризма. Понятно, что эта тема глубоко занимала его и что он, рисуя своих нигилистов, беспрестанно приходил к соображениям о противоречии их стремлений человеческой природе и человеческой истории.

Мы не будем входить в подробности комментария г. Розанова; это слишком сложно, слишком обильно содержанием. В заключение критик так характеризует «поэму», которую он разбирает:

«Прежде всего нас поражает необыкновенная сложность ее и разнообразие, соединенные с величайшим единством. Самая горячая любовь к человеку в ней сливается с совершенным к нему презрением, безбрежный скептицизм — с пламенной верою, сомнение в зыбких силах человека — с твердою верою в достаточность своих сил для всякого подвига; наконец замысел величайшего преступления, какое было когда-либо совершенно в истории, с неизъяснимо-высоким пониманием праведного и святого. Все в ней необыкновенно, все чудно. Точно те зыбкие струи добра и зла, которые льются и переливаются в истории, сплетая ее много-

сложный узор, — вдруг соединились, слились между собою, и, как в тот первый момент, когда человек впервые научился различать их, и начал свою историю, мы снова видим их нераздельными и так же, как он тогда, поражены ужасом и недоумением. Где Бог, и истина, и путь? спрашиваем мы себя» (с. 143).

Видя в «Легенде» выражение такого полного отчаяния и предполагая даже, что сам автор «Легенды» испытывал на себе порывы такого отчаяния³, критик затем ищет выхода из этих печальных мыслей. По его мнению, они порождены европейским духовным развитием как жизнью, которая, бывши некогда христианскою, «потом обратилась к иным источникам бытия и жизни». «Вот уже более двух веков минуло, — говорит критик, — как великий завет Спасителя: ищите *прежде* царствия Божия и все остальное приложится вам» — европейское человечество исполняет наоборот, хотя оно и продолжает называться христианским» (с. 154, 155).

Затем г. Розанов начинает излагать недостатки современной жизни Запада, характеризует дух романской Европы и католицизма, дух германского племени и протестанства, и кончает характеристикой славянства и православия как стихии, в которой возможно найти примирение душевных сил и спасение от отчаяния. Одним словом, если употребим давно установившуюся формулу, мы должны сказать, что г. Розанов *славянофильствует*, излагает некоторое *славянофильское* исповедание убеждений.

Пусть читатели сами вникнут в эти рассуждения, писанные с большим воодушевлением и если страдающие иногда преувеличениями и неточностью, то всегда, однако же, оживленные чувством и мыслью. С своей стороны мы прибавим лишь одно общее замечание. Г. Розанов, очевидно, принадлежит к людям, которые выросли на Достоевском. Таких людей, конечно, множество; все молодые люди последних двенадцати и пятнадцати лет прошли через Достоевского. Такова привлекательность этого писателя, а благодаря усердию издателей можно сказать, что нет у нас другого писателя, который бы так всем был доступен, так всеми читался. Между тем, что такое Достоевский? В той или другой степени, в том или другом виде, это — *славянофил*, это очень горячий сторонник славянофильства. Недавно к славянофилам стали причислять К. Н. Леонтьева, очень мало читавшегося; почему же не вспомнить о Достоевском? Относительно Леонтьева вышли по этому поводу пререкания, которых, кажется, не было бы относительно Достоевского.

В прошлом году, когда поднялись споры о положении славянофильства (продолжающиеся и до сих пор), А. Н. Пыпин под-

вел в «Вестнике Европы» следующий итог, определяющий это положение:

«Г. Милюков, быть может, слишком поторопился хоронить славянофильство. Если его нет в подлинном старом составе его учений, то, с одной стороны, Данилевский (хотя бы и не вышедший непосредственно из славянофильства) имеет множество поклонников, и его книга признана новым, истинным кодексом славянофильства; с другой стороны — г. Соловьев находил, что — “умерла ли выделившаяся из славянофильства универсально-религиозная идея, — этот вопрос, произвольно решенный П. Н. Милюковым, еще подлежит высшей инстанции”⁴. Наконец, фактически сохраняют свое значение (хотя с разными оттенками) взгляды старого славянофильства на славянский вопрос, которые поддерживаются славянскими благотворительными комитетами.

Особую вариацию провиденциальных теорий представляют взгляды Леонтьева, — соседние, но не сливающиеся со славянофильством» («Вестн<ик> Евр<опы>», 1893, сентябрь, с. 310).

Итак, слава Богу, славянофильство еще существует, имеет даже свой кодекс и представляет, как тому и следует быть, разный «вариации», «оттенки», взгляды «выделившиеся», «соседние» и т. п. Почему бы не причислить сюда Достоевского, положим, даже как представителя только «соседних взглядов»? А тогда пришлось бы поставить на счет и все необозримое множество его «поклонников».

Славянофильство есть просвещенный, идеализированный патриотизм, и, нужно полагать, он уже никогда не заглохнет у нас ни в грубом и слепом патриотизме, ни в безжизненном космополитизме.

